Ян Потоцкий "Рукопись, найденная в Сарагосе"

С Ланда

SHOUT
SHARE
IT

- * * *
- * * *
- * * *
- * * *
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

В истории литературы встречаются свои «археологические» находки. Под пластами архивной и библиотечной пыли открываются удивительные поэтические материки, из глубин прошлого доносятся голоса неожиданно ставших нам близкими людей, проясняются их удаленные во времени лица.

Замечательный польский ученый и писатель Ян Потоцкий (1761—1815), забытый в XIX веке, был заново «открыт» в наше время. Младший современник энциклопедистов, сохранивший веру в силу человеческого разума, он не был замечен романтиками, подвергшими критике прямолинейный рационализм просветительской идеологии. Его смелые исследования в области истории, этнографии, социологии не были приняты педантической наукой начала прошлого века. Иронически взиравшему на коррупцию, разъедавшую абсолютные монархии, и алчное стяжательство представителей третьего сословия, Потоцкому были равно чужды как феодальные традиции польской аристократии, так и возвышенные фразы буржуазных идеологов о всеобщем благе, за которыми он проницательно разглядел эгоизм и корыстолюбие. «Гражданин-граф», как его называли якобинцы Парижа, оказался сторонним наблюдателем в городе, ставшем ареной всемирных событий. Но таким же «чужаком» входил этот аристократ в светские салоны Вены, Берлина, Петербурга, где ему приходилось скрывать свою «непохожесть» либо выдавать ее за эксцентричность. Профессиональные ученые с явным недоброжелательством относились к историческим разысканиям Потоцкого: ревнители академической науки могли принимать его в роли мецената, но не коллеги.

Очевидец великих революционных потрясений, крушения многих европейских монархий, вознесения и гибели Наполеона, героических усилий Костюшко и разделов Польши, Потоцкий воистину «посетил сей мир в его минуты роковые». Когда развеялись последние иллюзии, связанные с надеждами на

восстановление независимого польского государства, он ушел из жизни. Выстрел, раздавшийся в Кладовке 2 декабря 1815 года, не отозвался большим эхом в Европе. Немногочисленными были отклики в печати на литературные и научные труды Потоцкого. Не принятый и не признанный при жизни, он приложил сам немало усилий, чтобы его забыли потомки.

Поляк по происхождению, писавший по-французски, Потоцкий был бесконечно далек от желания приобрести известность. К нему можно отнести слова одного из героев «Рукописи, найденной в Сарагосе»: «Он любил науки, но не ради славы, которую они приносят». Эта любовь принимала странные формы: Потоцкий нередко издавал свои книги в количестве двух или пяти экземпляров, а сто считал большим тиражом. Еще при жизни автора книги эти становились библиографической редкостью. Пушкин не мог приобрести петербургское издание «Рукописи, найденной в Сарагосе». Писатель А. Ф. Вельтман тщетно разыскивал в 30-е годы сочинения польского ученого. Исторические и научные труды Потоцкого в течение долгого времени оставались известными лишь узкому кругу ученых.

Понадобилось много десятилетий, чтобы Потоцкий шагнул в наше время, к современному читателю. Историки нашли в его сочинениях глубокие мысли о происхождении и расселении славянских народов, археологи — превосходную методику, позволяющую сопоставлять свидетельства древних авторов с современными наблюдениями, этнографы — не потерявшие по сей день своего значения описания жизни и быта народов Ближнего Востока, Кавказа и Монголии. Наибольшую славу, однако, принесли Потоцкому его литературные произведения.

В 1950 году на полках библиотеки Варшавского университета был обнаружен единственный (к тому же неразрезанный!) экземпляр одноактных комедий Потоцкого 1793 года издания. Несколько лет спустя они с успехом шли на сценах польских театров и театра Сары Бернар в Париже. Польский перевод романа Потоцкого, сделанный в 1847 году с ныне утраченной французской рукописи, впоследствии несколько раз переиздавался, а в 1965 году вышел в новой критической редакции польского литературоведа Л. Кукульского. В 1958 году французский исследователь творчества Потоцкого академик Р. Кайуа издал в Париже в числе лучших произведений мировой фантастической литературы «Рукопись, найденную в Сарагосе». В последующие годы этот роман был переведен на немецкий (дважды), английский, сербский и русский языки. Книга Потоцкого получила европейскую известность, в Польше по ее мотивам сделали кинофильм.

В статьях и монографиях, посвященных Потоцкому, нет недостатка в признании его заслуг перед литературой и наукой. Один из самых блистательных представителей польской культуры того времени, он справедливо входил во Франции в великую семью просветителей. Патриот своей страны, европеец и гражданин мира по своему самосознанию, Потоцкий имеет прямое отношение и к России: здесь он провел последние годы своей жизни, совершал путешествия от Москвы до предгорий Кавказа, от Петербурга до границ Монголии, составил записку о будущем развитии Сибири, редактировал первую в России правительственную газету на французском языке «Journal du Nord» («Северные известия»). Наконец, в Петербурге появились его важнейшие исторические исследования и первые «тринадцать дней» рассказов из «Рукописи, найденной в Сарагосе».

Историческая справедливость таким образом восторжествовала, и к Потоцкому, пусть с запозданием в полтора столетия, пришло настоящее большое признание.

* * *

Необычайная жизнь Потоцкого принадлежит двум эпохам: с Просвещением связаны энциклопедическая широта знаний, склонность к точным наукам; с романтизмом — страсть к путешествиям, к миру экзотики и фантастического. Детство будущего автора «Рукописи, найденной в Сарагосе» прошло на Украине, в поместьях, принадлежавших его отцу, коронному кравчему Польши Юзефу Потоцкому, и матери Анне Терезе, урожденной Оссолинской. В 1773 году двенадцатилетнего мальчика отправили в Лозанну, а затем Женеву, считавшуюся второй, после Парижа, интеллектуальной столицей Европы. Наряду с новыми и древними языками Потоцкий изучал математику, геометрию, естественные науки. Эти занятия были продолжены в Вене, в инженерной академии, которую он посещал с 1778 года, будучи некоторое время лейтенантом австрийской армии. Здесь он приобрел основательные познания в механике, начертательной геометрии, фортификации. После морского похода на Мальту, сопровождавшегося знакомством с Южной Италией, Потоцкий вернулся в Польшу. Он продолжал с прежним рвением заниматься науками, уделяя особое внимание изучению славянства, политической экономии, философии, литературе и истории древнего мира.

«Самое большое наслаждение, — вспоминал Потоцкий о своей молодости, — приносили мне долгие ночи, проведенные в тихом кабинете за изучением наук». Много лет спустя на границе с Китаем он писал не без легкой иронии: «Уже на исходе восьмой месяц моих странствий по этим пустынным просторам, но еще не было такого дня, который я не заполнил бы работой: рисую, пишу, составляю карты по древней географии и сравниваю между собою варварские наречия. Я работаю, не обращая внимания на времена года и на тучи насекомых, досаждающих мне и моим бумагам». И в другом месте: «Со времени моего первого путешествия минуло девятнадцать лет, сколько воды утекло! Но все мои шаги определены одними и теми же побуждениями. Люди, страстно увлеченные науками, напоминают в чем-то известного геометра из Сиракуз, которого легионер Метелла мог убить, но не оторвать от занятий».

Редкий эрудит, хорошо изучивший европейские библиотеки, он никогда не ограничивал себя одними книжными знаниями. Свои исторические разыскания Потоцкий стремился подтвердить наблюдениями из жизни многочисленных стран, которые он посетил.

Двадцатитрехлетний юноша, недавний гость венских и варшавских гостиных, совершил нелегкий путь по пустынным буджакским степям к устью Дуная и Северному Причерноморью, где лишь спустя десять лет была основана Одесса. Затишье между войнами позволило Потоцкому переправиться на турецкой фелюге в Константинополь, оттуда — в Египет, а спустя несколько месяцев вернуться на родину, посетив по пути находившийся под господством Блистательной Порты славянский юг Европы. В 1787 году Потоцкий отправился в Париж, откуда намеревался переехать в Англию, но изменил свои планы, торопясь попасть в Голландию, которой угрожало военное вмешательство Пруссии. Спустя два года Потоцкий совершил длительное путешествие по странам Средиземноморья. В 1791 году он снова в Париже, откуда его путь лежит через Ниццу, Лион и Марсель в Марокко. Знакомство с арабским миром и культурой ислама Потоцкий завершает в испанской Гранаде. За Испанией, Португалией и Парижем следуют Англия и Шотландия. 1794 год застает Потоцкого в Нижней Саксонии, где он объездил ганзейские города, Мекленбург и Голштинию в поисках славянских древностей. В 1797 году Потоцкий получил разрешение Павла I совершить поездку к предгорьям Кавказа. Несколько лет он проводит в Швейцарии и Италии (1803— 1804), а в 1805 году возглавляет научную миссию при русском посольстве, отправившемся в Китай. Какое разнообразие впечатлений! Каледонские скалы и горы Атласа, голландские дюны и низовья Волги, берега Невы и Темзы, испанское барокко и французская готика, парижские клубы и кочевья калмыков, египетские пирамиды, развалины римских амфитеатров. Средиземноморье, Европа, Африка, Азия. Любознательность Потоцкого не знает пределов. Вместе с приглашенным в Польшу французским воздухоплавателем Ф. Бланшаром он поднимается в Варшаве на воздушном шаре и ведет наблюдения за потоками ветра и состоянием облаков. Он увлекается астрономией, химией, биологией. В Париже беседует с уже прославленным в постановке «Магомета» (1787) актером Ф.-Ж. Тальма о судьбах классической трагедии, в Марокко знакомится с рассуждениями местного знатока и почитателя Аристотеля. Узкие улицы восточных городов, быт испанских цыган, нравы и обычаи кавказских племен — все привлекало внимание Потоцкого, обладавшего редким по широте восприятия и непосредственной отзывчивости чувством прекрасного.

Потоцкий порывает с традиционным жанром «ученого путешествия», с его канонами, связывающими авторскую свободу. Его научные труды теряют замкнутый профессиональный

характер и начинают походить на путевой дневник или очерк, в котором даны не готовые выводы, а процессы их постижения, сложность поисков, неожиданность находок. Перед читателем появляется сам автор-путешественник, увлеченно рассказывающий о своих наблюдениях. Ни в чем не утрачивая серьезности, убедительности, исследования польского ученого раскрываются еще в художественном измерении. В дневниковых записях Потоцкого складывался его литературный стиль, отмеченный строгим лаконизмом и поэтичностью. Недаром Пушкин, большой поклонник дарования польского автора, замечал, что его «ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы» («Путешествие в Арзрум»). «Занимательность» эта была продиктована определенной полемической направленностью.

«Впечатления путешественника, — пишет Потоцкий, — лишь тогда могут стать любопытными и поучительными, если его ум сохраняет общую философскую настроенность». О какой философии пишет Потоцкий? Как он сам определяет направление своих интересов? Его ответ предельно прост: он обещает читателю ни на что не закрывать глаза. «Расскажу обо всем, что случится увидеть... буду писать в убеждении, что каждая истина о природе и человеке столь важна, что ради ее изучения стоит отказаться от отдыха и развлечений». На первый взгляд может показаться, что «философская настроенность» Потоцкого выражается в том, что он попросту отказывается от какой-либо философии, что его интересует не осмысление реального мира, а собирание частных фактов. Но это не так.

Потоцкого волновали судьбы людей и народов в их настоящем и историческом прошлом. Интерес к конкретному перерастал в изучение локального колорита, национального своеобразия, обусловленного определенными традициями. Мысль Потоцкого развивалась по пути преодоления абстрактных просветительских представлений в области истории, политики, социологии. Отвлеченному логизированию просветителей Потоцкий противопоставлял идеи историзма.

В своем «Путешествии в Марокко» (1792) Потоцкий вступает в спор с политическими доктринами Ш.-Л. Монтескье о разных системах власти: «Легко сказать, что такое-то правление деспотическое, аристократическое либо демократическое; до сих пор эти три определения были весьма удобны для ленивых умов, беда лишь в том, что они ничего не выяс няют для читателя. Подобно тому как нет никакого сходства, например, между правлением в Польше и кантональной властью в Берне, хотя оба они аристократические, нет его также между афинской

демократией и демократическим правлением в кантоне Унтервальдеи». Потоцкий отказывается от универсальных концепций человеческого прогресса, которые не выдерживают сопоставления с реальной действительностью. Приводя мнение К.-А. Гельвеция о скуке, в которой французский философ видел одно из свидетельств прогресса, — разум, привыкший к усилиям и постоянному труду, не терпит перерывов, — Потоцкий возражал: не чрезмерно ли Гельвеций обобщил свои наблюдения? В Азии, Африке, у американских индейцев нет понятия скуки. То, что европейцу кажется признаком лени, в действительности — свидетельство близости к природе, естественных чувств (разумеется, ничего общего не имеющих с рассуждениями Ж.-Ж. Руссо о «естественном человеке»). Во время неудавшейся поездки в Китай Потоцкий убеждал возглавлявшего посольство графа Головкина считаться с обычаями и церемониями, принятыми при дворе китайского императора и весьма далекими от европейских представлений о достоинстве человека. Знание обычаев народа, по мнению Потоцкого, не менее важно, чем знание его языка.

Своеобразие афро-азиатских культур перестало быть в глазах польского ученого отклонением от нормы или искажением «естественных», «вечных» форм прогресса. Универсальному единству, основанному на просветительском представлении о неизменной природе человека, было противопоставлено историческое единство человечества, состоящего из разнообразных и равноправных культур. Стремясь преодолеть просветительские представления о европейской модели всеобщего прогресса, Потоцкий в то же время рассматривал европейский мир как законного наследника афро-азиатских цивилизаций. Он широко раздвинул границы исторической науки, включая в сферу своих изучений, помимо античности, Древний Египет, Китай, великие миграции народов. Он мечтал о создании всемирной хронологии, пытливо вглядывался в тайны египетских письмен еще до открытий Ж.-Ф. Шампольона, собирал материалы для первой истории Марокканского королевства, интересовался тюркским и арабским миром.

Конечно, многие свои замыслы Потоцкий не успел осуществить, многие дела, о которых говорилось выше, не получили должного развития в его научных трудах. Но само выдвижение этих проблем весьма характерно для понимания процессов рождения историзма в европейской культуре конца XVIII — начала XIX века. Наибольший интерес в этой связи представляют исследования Потоцкого, посвященные славянству, древнейшим эпохам его существования, роли славянских народов в истории человечества. Ему принадлежит заслуга основателя

научного славяноведения. Его тезис «Прошлое можно понять, только обдумывая настоящее» заметно отличался от тогдашнего состояния исторической методологии и открывал самые широкие возможности в обращении к традициям устного народного творчества, к архаическим формам языка, его этимологии, к народным обычаям, обрядам, уцелевшим памятникам материальной культуры.

Обращая внимание на эти особенности Потоцкого, Адам Мицкевич называл его в своих парижских лекциях «самым великим и наиболее глубоким славянским историографом». По мнению польского поэта, задолго до знаменитого немецкого историка Б.-Г. Нибура, искавшего разгадку легенд о Ромуле и Реме у римских торговок, Потоцкий «размышлял в татарских юртах о скифской истории». Он «первый вывел науку из кабинетов, много путешествовал, изучал страны, говорил с людьми, чего ни один исследователь древности не делал до него»[{1}].

Не менее важным для развития исторической науки было обращение Потоцкого к Средним векам, которыми, по его словам, «до сих пор все пренебрегали». В отличие от просветительской историографии, отрицавшей значение «варварской эпохи», Потоцкий видел в Средних веках исторически необходимый этап развития, соединяющий древность с Новым временем. Воодушевленный этой идеей, он проделал громадную источниковедческую работу в области изучения славянского Средневековья. Этот более чем скромный автор имел все основания писать в предисловии к своему исследованию «Хроники, мемуары и разыскания, полезные для изучения истории всех славянских народов» (1793): «Сборник, который я предлагаю вниманию читателей, можно расценить как открытие нового исторического мира: факты, из коих он составлен, относятся к истории всех славянских народов и почерпнуты из авторов, в большинстве теперь забытых». Продолжением этой работы явился четырехтомный труд Потоцкого, сохранивший свое историковедческое значение до наших дней: «Исторические и географические материалы о Скифии, Сарматии и Славянах» (1798).

Незадолго до появления этой книги Потоцкий совершил путешествие в Саксонию, чтобы познакомиться с жизнью славянского меньшинства, почти полностью растворившегося в немецком окружении. Предваряя наблюдения первого польского археолога З. Доленги-Ходаковского (1784—1825), Потоцкий обратил внимание на сходство древних курганов в Нижней Саксонии с теми, какие он видел на Украине, вскрывал в

названиях немецких городов и рек славянские корни, привлекал данные археологии, фольклора, сравнительного языкознания, которое в то время еще не оформилось как самостоятельная наука. Под поверхностным пластом германизма оказалась славянская почва. В своей «Древней истории Подольской губернии» (1805), составляющей часть большого труда по истории народов, населяющих Россию, Потоцкий пришел к выводу, что все земли между Эльбой и Везером и часть Фраконии были в течение трехсот — четырехсот лет заселены славянским племенем венедов, или сербов.

Исследования Потоцкого, представляющие немалый интерес для определения западных границ славянского мира, для конца XVIII века имели особое значение. Их появление совпало с третьим разделом Польши, с переходом польских земель под господство Австрии, Пруссии и России. Наука соприкасалась с политикой: в исторической общности славянских народов Потоцкий пытался найти пути, ведущие к восстановлению государственной независимости Польши.

Политическая деятельность Потоцкого связана с Четырехлетним сеймом 1788—1792 годов. Это было время, когда Речь Посполитая стремилась вырваться из состояния тяжелого экономического, социального и политического застоя. Прогрессивные силы польского общества выдвинули широкую программу реформ, направленную на оздоровление всей государственной системы. По конституции, принятой 3 мая 1791 года, в стране вводилась наследственная монархия, провозглашалась идея постепенного распространения всех шляхетских свобод на остальные слои населения. Принцип «либерум вето» (обязательное единогласие), которым пользовались реакционные силы, парализуя работу сейма, уничтожался, расширялись права мещанства.

Потоцкий принимал самое деятельное участие в работе Четырехлетнего сейма. Уже в своих путевых заметках о Голландии, опубликованных в 1789 году, он писал, как бы предвосхищая споры на сейме: «Поляки вернули свою свободу! О, если бы они сумели, столько испытав, сохранить ее, эту величайшую драгоценность. Если бы они смогли распространить ее блага на самого последнего человека в Польше!» Вернувшись в Варшаву, Потоцкий сблизился с прогрессивно настроенными реформаторами. Вместе с Гуго Коллонтаем, Станиславом Сташицем, Игнацием и Станиславом Косткой Потоцким и другими демократическими деятелями он защищал необходимость проведения социальных и политических преобразований, провозглашал идеи свободы и просвещения.

Последний польский король Станислав Август Понятовский, называвший Потоцкого «польским Лафайетом», несколько опасался его «раскаленных идей». Он отказал Потоцкому в редактировании «Сеймовой газеты» и даже пытался наложить запрет на его статьи. Тогда Потоцкий основал «Вольную типографию», в которой печатались выступления депутатов сейма, в том числе выдающегося писателя и общественного деятеля Ю.-У. Немцевича (1751—1841), и его собственные памфлеты, а во дворце Борха открыл первый в Польше политический клуб, где можно было ознакомиться с польскими и французскими газетами и брошюрами. В своих политических брошюрах Потоцкий осуждал феодальное право, систему сословных привилегий и поддерживал основные положения будущей польской конституции. Значительна была роль Потоцкого в подготовке реформы системы народного просвещения. Опасаясь вмешательства в польские дела со стороны Австрии, Пруссии и России, Потоцкий уделял много внимания военным вопросам. Будучи членом военной комиссии сейма, Потоцкий ратовал за создание регулярной армии, предложил ряд технических новшеств в строительстве крепостей, линий оборонительных укреплений, оригинально обосновал тактику ведения войны с Пруссией и в этой связи защищал доктрину партизанской войны. Он даже издал нечто вроде инструкции или учебника для действий в тылу противника. Потоцкий вооружил за собственный счет отряд стрелков и призвал шляхту отдать часть своих доходов на армию. Но шляхта не разделяла его патриотических порывов. «Благородная нация» магнатов не торопилась поступаться своими доходами и отказываться от своих привилегий. Эгоизм польской знати продолжал торжествовать над общенациональными интересами. Разочарование Потоцкого в возможностях проведения необходимых реформ усугублялось его отношением к событиям во Франции.

Воспользовавшись перерывом в работах сейма, Потоцкий в августе и сентябре 1791 года побывал в Париже. Он посещал салон вдовы Гельвеция, где встречались выдающиеся представители французского Просвещения — философы и ученые К.-Ф. Вольней, Ж.-А, Кондорсе, П.-Ж. Кабанис и другие. С Вольнеем впоследствии его связывала на протяжении многих лет дружеская переписка. Познакомился Потоцкий и с Маратом, который за несколько лет до того написал роман о его отце — «Приключения молодого графа Потоцкого» (1786). Париж был взбудоражен неудавшейся попыткой бегства короля, и Потоцкий опасался революционного террора. Он с горечью восклицал в

одном из своих писем: «Прощай, прекрасная надежда! Свобода здесь уцелела. Но как это далеко от всеобщего блага народа! Нынешнее поколение его не увидит».

«Всеобщее благо» перестало совпадать со «свободой» — наблюдение, свидетельствующее о социальной проницательности и одновременно о противоречивости взглядов Потоцкого. Не понимая исторической необходимости революционного насилия, он в то же время хотел облегчения участи парода. В его памфлете «Путешествие Гафеса. Восточная повесть» (из книги «Путешествие в Марокко», 1792) под названием Бахрейна описана революционная Франция. Автор, выступающий от имени «любознательного Гафеса» и «мудреца Бекташа», обратил внимание на крайнюю нужду рабочих, нередко лишенных куска хлеба и какой-либо возможности заработка. Карикатурно изображая «крикунов» и «демагогов», в которых легко узнать якобинцев, он вместе с тем искренне возмущен алчностью купцов и фабрикантов Басры (Лиона), озабоченных лишь собственным обогащением.

Подобно многим своим современникам, радостно приветствовавшим великие лозунги 1789 года, Потоцкий отшатнулся от революции, когда она готовилась перешагнуть через конституционно-монархические барьеры. В одной из своих комедий-миниатюр «Кассандр-демократ» (1793) Потоцкий с едкой иронией изображает буржуа, нагло рвущегося к власти. С таким же сарказмом показана напыщенная ничтожность аристократа Леандра. Его «брак по расчету» с дочерью Кассандра — пророческое предвидение эпохи Реставрации, принесшей с собой циничный компромисс между новой и старой знатью.

Тем временем произошли второй (1793 г.) и третий (1795 г.) разделы Польши. Объединенные силы России, Австрии и Пруссии, опираясь на прямую поддержку польской реакции, подавили сопротивление армий Костюшко и завершили дележ польских земель. Политический скепсис не помешал Потоцкому надеть в 1792 году мундир капитана инженерных войск и заниматься оборонительными работами на берегах Вислы. Имя Потоцкого, как и многих других польских реформаторов, оказалось в списке «преступников», чьи поместья подлежали конфискации после третьего раздела Польши. Только вмешательство влиятельного при русском дворе родственника, Феликса Потоцкого, спасло его от разорения, а возможно, и от тюрьмы. Эти же связи помогли ему позже, после смерти Екатерины II, совершить путешествие на Кавказ (1797-1798 гг.).

В дневниковых записях Потоцкого тех лет отразились его размышления о современном мире: «Сколько держав исчезло!

Сколько монархий распалось... Чудом избегнувши опасности, я проведу эту зиму спокойно, у предгорий знаменитого хребта, древней колыбели народов, происхождение которых я изучаю. Но я был бы еще более счастлив, если бы смог вообще забыть о делах современного мира. Увы, и здесь, даже в самых диких пещерах, невозможно скрыться от политики». Значение науки для Потоцкого безмерно возрастало, она становилась для него некоей нравственной утопией, резко противопоставленной политической злобе дня: «Благословляю паука, принесшую мне счастье, покой и даже наслаждение, вопреки ужасному хаосу, в который погружено наше время... Великой истиной является то, что мир принадлежит людям труда, но пользуются им бездельники. Поговорите с другом наук — и вы убедитесь, что он не желает ничего иного, как продолжать свои труды; так же рассуждает крестьянин, и это означает лишь то, что оба постигли смысл истинного счастья».

Эти рассуждения свидетельствуют об общественном пессимизме Потоцкого, который заметно отразился в написанной позднее «Рукописи, найденной в Сарагосе» (особенно в главах, посвященных жизни ученых — Веласкеса и Эрваса). Понимание науки как нравственной утопии отделяло Потоцкого от практической деятельности созданного в 1800 году в Варшаве Общества друзей наук, членом которого он был и которое ставило своей целью развитие польской культуры и «сохранение национального духа».

Кратким эпизодом возвращения Потоцкого к политической деятельности было его участие в реализации антинаполеоновских планов Адама Чарторыского, ближайшего друга Александра I и министра иностранных дел России в 1804— 1806 годах. Именно Чарторыский привлек своего кузена Яна Потоцкого на русскую службу при министерстве иностранных дел по азиатскому департаменту.

Как уже упоминалось, в 1805—1806 годах Потоцкий возглавлял научную миссию при русском посольстве графа Ю.А. Головкина. Находясь в Сибири, он составил записку о культурном и экономическом развитии этого края, предсказывая ему большое будущее. 8 января 1806 года Российская академия наук избрала польского ученого в почетные члены. Потоцкий вернулся в Петербург в начале лета 1806 года, когда складывалась четвертая коалиция против Наполеона. Хотя Чарторыский вышел в отставку из-за прусских симпатий Александра I, Потоцкий на протяжении года до заключения Тильзитского мира служит пером публициста в борьбе против Наполеона I.

Об этом периоде жизни Потоцкого, мало изученном его биографами, сохранились интересные сведения в архиве

министерства иностранных дел. 24 июля 1806 года Потоцкий предложил проект издания правительственной политической газеты под названием «Санкт-петербургская императорская газета» («La Gazette Imperiale de Saint-Pettersbourg»). В последующих его записках газета фигурирует под названием «Северные известия» («Journal du Nord»). Газета стала выходить начиная с весны 1807 года по три выпуска в неделю. «Издателем назначили маркиза Мермона… Но цензор, директор, глава этого издания — граф Ян Потоцкий, состоящий при министерстве иностранных дел по азиатскому департаменту, человек, весьма преданный наукам. Объявления и два первых номера принадлежат его перу», — отмечал в своих письмах Ж. де Местр, посланник Сардинии в Петербурге в 1802—1817 годах. Тогда же Потоцкий сообщал исполнявшему обязанности министра иностранных дел барону Будбергу, что у него заготовлено материалов на три номера вперед.

В записке барону Будбергу по поводу издания газеты Потоцкий писал, что интересы Франции не совпадают с интересами «семьи корсиканца» и противоречия между ними рано или поздно обнаружатся. Поэтому уже сейчас необходимо противопоставить «императору французов» Сенат и армию, воздействовать на генералов и, может быть, на Талейрана («когда появится сильная оппозиция, он будет не из последних, кто к ней примкнет»). Потоцкий предлагал даже такую необычную для крепостной России форму политической пропаганды, как издание десятков тысяч листовок с воззваниями к французским солдатам: «Вы храбрые люди, и русские сожалеют, что вынуждены сражаться с вами. Наполеон проливает реки французской крови. Заключить с ним мир невозможно. Но с Сенатом его можно заключить немедленно».

В «Северных известиях» печатались материалы о положении в Италии, где «храбрый и честный народ сопротивляется корсиканскому завоевателю».

Но самый сокровенный мотив публицистических статей Потоцкого — Польша. Такие польские политики, как Адам Чарторыский, видели в национальном возрождении Европы под знаменами легитимизма и борьбы с французским господством путь к восстановлению независимой Польши, соединенной династическими узами с Россией. И Потоцкий настойчиво развивает мысли Чарторыского о необходимости оторвать польские легионы{2} от Наполеона, «привязать их морально к России» и в нужный момент повернуть против французов.

«Северные известия», по мысли Потоцкого, должны были стать просветительским изданием. Потоцкий стремился показать

«силу и мощь России, огромную протяженность ее границ и неисчерпаемые природные ресурсы». В газете печатались сведения о европейской части России, Кавказе и Сибири, приводились статистические данные о развитии промышленности, торговли и ремесел, немало места уделялось успехам русской науки. Просветительские надежды Потоцкого отразились в одной из его записок: «Факел наук сохранился во Франции во время революции, и если наша газета дойдет до французских ученых, они с радостью убедятся, что это священное пламя не погасло в России во время политических бурь».

Однако издание печатного органа, соединявшего правительственную политику с задачами просвещения, не имело шансов на успех. После заключения в июле 1807 года Тильзитского мира Потоцкий отказался от редактирования газеты и окончательно отошел от политической деятельности. Он с горечью наблюдал за трагедией польского народа, обманутого демагогическими обещаниями Наполеона. Поведение Александра I также не вызывало у него каких-либо надежд на будущее Польши. Одинокий, разочарованный, он жил в своих поместьях, лишь изредка навещая Петербург, где издавались его ученые труды. Все свое время он отдавал историческим исследованиям и самому значительному своему творению — роману «Рукопись, найденная в Сарагосе».

* * *

Творческая история «Рукописи, найденной в Сарагосе» мало изучена. Оригинал романа, написанный по-французски, был утрачен, и все попытки обнаружить его не увенчались успехом. Сам Потоцкий не оставил каких-либо прямых высказываний о своем романе. Даже рукописи, послужившие основой для первых публикаций, не сохранились. Тем важнее для нас эти первые издания — они позволяют судить о различных редакциях романа, работу над которым Потоцкий не прекращал до конца своей жизни.

Наиболее авторитетно петербургское издание, единственное осуществленное под непосредственным наблюдением Потоцкого, которое обычно датируется 1804 либо 1804—1805 годами. Расхождения, существующие по этому поводу, устраняются благодаря обнаруженным в архиве цензуры материалам.

23 декабря 1804 года цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета Христиан Зон рассмотрел «Manuscrit trouvй a Saragosse» и, «не нашед в ней ничего противного уставу», одобрил к напечатанию. 20 января 1805 года тот же цензор подписал разрешение на издание «дополнения к рукописи под названием «Manuscrit trouvй a Saragosse». Одобренная цензурой рукопись «первого декамерона», содержащая «десять дней» рассказов из жизни Альфонса ван Вордена, была отпечатана в «собственной типографии автора» в количестве ста экземпляров в январе — феврале 1805 года. Единственный полностью уцелевший экземпляр этого издания, хранящийся в Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, выглядит следующим образом: переплет и титульный лист отсутствуют, как и данные об авторе, месте и времени издания, название размещено на первой странице, над текстом, набранным крупным курсивом, напоминающим писарский почерк. Издание явно стилизовано под рукопись, даже по своему формату, в четвертую долю листа. Вскоре появился «второй декамерон», который обрывался на неоконченной фразе в конце «дня тринадцатого». Очевидно, какие-то обстоятельства, возможно — предстоящий отъезд в Китай, помешали Потоцкому закончить набор «Рукописи...»{3}

П.А. Вяземский, хорошо знавший родственников Потоцкого, рассказывал, что роман писался для жены, которую Потоцкий хотел развлечь во время продолжительной болезни и по вечерам читал ей сказки «Тысяча и одной ночи». «Когда книга была дочитана, графиня начала скучать и требовала продолжения

подобного чтения. Чтобы развлечь ее и удовлетворить желание ее, он каждый день писал по главе романа своего, которую вечером и читал ей вслух». Трудно судить о достоверности этого рассказа: отозвалось ли в нем желание ученого представить свои литературные занятия чем-то случайным и незначительным либо это было данью новой моде. Подобные легенды были широко распространены в преромантической литературе.

В действительности роман Потоцкого создавался на протяжении ряда лет, и свидетельство Вяземского может иметь значение лишь для определения начальных этапов работы. Вяземский имеет в виду вторую жену Потоцкого, Констанцию, на которой Потоцкий женился в 1798 году.

По-видимому, Потоцкий замышлял написать несколько «испанских романов», среди которых наиболее значительным был «Авадоро». В 1813 году в Париже был опубликован в четырех небольших томиках «Avadoro, Histoire espagnole, par. M. L. C. J. P.». Роман состоял из рассказа Авадоро, соответствующего 12-13, 15-18, 20, 26-29, 31-36, 47-56 «дням» полной версии «Рукописи, найденной в Сарагосе». Последняя книжка заканчивалась уверением анонимного издателя, что, несмотря на все усилия, продолжения рукописи не удалось найти, но поиски эти будут продолжены, если публика примет первую часть благосклонно. Действительно, уже в следующем году появился «новый» «испанский роман» в трех такого же формата томиках, но без указания инициалов автора: «Les dix journйes de la vie d'Alphonse van Worden». Содержание этих трех томиков приблизительно совпадает с «первым декамероном» петербургского издания с добавлением истории Ревекки («день четырнадцатый») и предисловия, написанного в 1808 году. Как и «Авадоро», это издание, видимо, восходит к ранним редакциям романа, когда Потоцкий создавал отдельные «жизнеописания». В виде такого «жизнеописания» была, очевидно, написана и «История Агасфера», известная нам по полному тексту романа («дни» 9, 21—22, 31—36, 38—39, 46). В последних главах парижского издания 1814 года Агасфер показан в иной роли: это не жалкий преступник, обреченный на бессмертие и злобно подчиняющийся приказам каббалиста, а человек, наделенный сверхъестественной силой творить добрые дела. Судьба этого героя могла составить содержание нового романа, о чем писали парижские издатели «Десяти дней из жизни Альфонса ван Вордена».

Вполне возможно, что вскоре после приезда в Петербург у Потоцкого созрела идея совместить в рамках одного повествования различные литературные сюжеты. Так родился замысел «Рукописи, найденной в Сарагосе», первые тринадцать

«дней» которой появились в 1805 году. Название романа предполагало определенную литературную форму — дневник, в котором главный герой излагает историю своей жизни. Друг Пушкина Михаил Юрьевич Виельгорский слышал, как Потоцкий в 1805 году рассказывал, что все фантастические происшествия, поразившие первых читателей романа, весьма просто разъясняются в конце.

Поначалу Потоцкий собирался написать едва ли не десять «декамеронов»: на девятый день своих приключений Альфонс ван Ворден получил отпуск на три месяца, который был обязан «провести на границе Кастилии и Андалузии». Впоследствии Потоцкий сократил пребывание этого храброго офицера в горах Сьерра-Морены до двух месяцев: в эпилоге романа, который был написан, по-видимому, не позднее 1808 года, указано на «шестьдесят дней» из жизни Альфонса ван Вордена.

Любопытные сведения о романе заключены в «Систематическом обозрении литературы в России в течение пятилетия, с 1801 по 1806 год», изданном в Петербурге в 1810 году А. Шторхом и Ф. Аделунгом. Во второй части обозрения, посвященной иностранной литературе, Аделунг пишет под № 508: «Роман сей, без заглавия, напечатан в Петербурге в 1805 году в виде манускрипта на иждивение сочинителя. Часть первая содержит 158 страниц. Второй части напечатано только 48 страниц. Продолжение же сего весьма занимательного романа, коего в рукописи находится четыре тома, останется, по всему вероятию, ненапечатанным. В 1809 году на Лейпцигской ярмарке во время Пасхи вышла переделанная первая часть сего сочинения под заглавием «Die Abentlieuer in der Sierra-Morena». Компетентность приведенных здесь сведений вне сомнений, поскольку именно автор этих строк, Ф. Аделунг, близко знакомый с Потоцким, «переделал» (перевел) «Рукопись, найденную в Сарагосе» на немецкий язык. Если учесть, что немецкое издание появилось весной 1809 года, то перевод мог быть сделан не позднее 1808 года. Очевидно, о чем свидетельствует надпись в немецком заглавии («Aus den Papieren des Grafen von ***, I Band»), переводчик располагал в течение некоторого времени авторской рукописью. При этом заметим, что для Аделунга, знакомого с полным текстом, его опубликование представляется маловероятным. Почему? Конечно же, не из-за художественных особенностей «сего весьма занимательного романа». Свободомыслие в вопросах веры, весьма заметное в поучениях египетского жреца Херемона, в научных системах Веласкеса, Эрваса и других героев «Рукописи, найденной в Сарагосе», находилось в вопиющем противоречии с новым цензурным

уставом 1804 года (§ 18-19).

Эти наблюдения позволяют предположить, что роман Потоцкого был в основном создан около 1808 года. Этому не противоречит его содержание. В «Рукописи, найденной в Сарагосе» разбросано немало сведений из области химии, физики, философии. Зная поразительную эрудицию и точность автора, можно не сомневаться, что части романа, посвященные жизни ученых — Веласкеса и Эрваса, были написаны после 1800 года (упоминания об опытах М.-Г. Кляпрота) и до 1807 года, когда еще существовали представления о щелочах как первичных веществах. Имя Эрваса, вероятнее всего, появилось в «Рукописи...» не ранее 1803—1804 годов, когда Потоцкий мог встречаться с испанским ученым в Риме, а рассуждения Веласкеса, вызванные полемикой вокруг книги французского философа Кабаниса, можно датировать летом 1808 года.

Польский исследователь «Рукописи...» Л. Кукульский обратил внимание па стилистическую близость письма Потоцкого к брату из Кяхты (20.XI.1800) с размышлениями Диего Эрваса в «дне сорок восьмом» романа: «Я уже закончил свою древнееврейскую хронологию, где объяснил все неточности, встречающиеся там. Теперь чувствую себя в растерянности, так как не вижу перед собою новых препятствий. Хорошо, что в трансцендентальной философии есть еще не изученные области». Письмо это можно соотнести и с другими сюжетами романа. В «Хронологии», об окончании которой пишет Потоцкий на исходе 1806 года (издана в Петербурге в 1810 г.), провозглашалась необходимость «возвести историю до уровня точных наук» и обращаться «для достижения истины» к методам, которые применяются в геометрии. Увлечение точными науками заметно сказалось на образе «ученого-геометра» Педро Веласкеса, особенно в его рассуждениях об истории («день двадцать второй»), о трансцендентальной философии («день тридцать девятый»), о развитии человека («день сорок пятый»). Общие принципы «Хронологии», основанные на частом обращении к Библии, были травестированы в «Истории рода Уседа» («день шестьдесят пятый»). История Агасфера, охватившая важнейшие эпохи из жизни Древнего Египта и Иудеи («дни» 21-22, 31-36, 38-39, 46), находит соответствия в изучении Потоцким забытой в науке хроники Манефона.

После 1808 года работа над «Рукописью...» некоторое время продолжалась, о чем можно судить по опубликованному в 1847 году польскому переводу романа, сделанному Э. Хоецким. Как уже упоминалось, оригинал не сохранился, и это единственный известный нам полный текст романа. К сожалению, он был

отретуширован переводчиком, заменившим эротические сцены постными описаниями, нередко с ущербом для здравого смысла, что легко обнаруживается при сопоставлении с соответствующими главами петербургского издания 1805 года. Помимо этих поправок, в переводе Хоецкого можно, однако, обнаружить еще один слой исправлений. В этом случае речь идет не о произволе переводчика, а о редакционной работе самого автора романа, что становится ясным при сравнении перевода Хоецкого с более ранним парижским изданием 1813 года.

В тексте «Лиадоро», целиком вошедшем в «Рукопись, найденную в Сарагосе», Потоцкий, стремясь к большей исторической точности, заменил некоторые имена и географические названия на другие. Он также полностью переписал «двадцать восьмой» и «сорок седьмой» «дни» и включил в свой роман новые превосходные новеллы, но не довел редактирование текста до конца. Так, в «дне пятьдесят седьмом» осталось описание поединка Хуана ван Вордена, которое в несколько измененном и расширенном виде было перенесено в «день двадцать восьмой», а в «дне шестидесятом» упоминается поэт Агудес, рассказ о котором был исключен из «дня сорок седьмого». Наконец, в эпилоге приводится прежнее исчисление глав («шестьдесят дней»), хотя в тексте романа уже содержится «шестьдесят шесть дней». Расхождение в шесть «дней» легко объясняется. В польском издании романа, состоящем из «шестидесяти шести дней», двадцать восемь приходятся на рассказы Вордена, Веласкеса, Уседы, Агасфера и великого шейха Гомелесов, остальные тридцать восемь «дней» заняты «историей» Авадоро-Пандесовны. Кроме того, во французском издании 1813 года отсутствует один из самых прекрасных эпизодов романа, связанный с рассказами вернувшегося из Мексики маркиза Торреса Ровельяса. Похождения благородного испанца, выступившего в защиту угнетенного народа, занимают как раз шесть глав, которые составляют различие между двумя редакциями («дни» 40—45). Возможно, они, как и предисловие, были написаны в конце 1808 года под впечатлением событий в Испании, героической обороны Сарагосы, напоминавшими Потоцкому недавние усилия польского народа и его трагическую судьбу.

Как ни приблизительны все эти наблюдения, они дают основания считать перевод Хоецкого последней и наиболее зрелой редакцией романа, работа над которым была прервана по неизвестным причинам около 1810 года. В 1815 году, незадолго до самоубийства, Потоцкий собирался снова вернуться к роману, но уже не смог осуществить свое намерение.

* * *

Художественная структура романа Потоцкого довольно сложна. Сюжетом служат приключения валлонского офицера, который торопится в свой полк, но все время оказывается вблизи заброшенного в горах Сьерра-Морены трактира и двух виселиц с телами двух бандитов. Все разъясняется лишь в конце романа, когда великий шейх Гомелесов рассказывает главному герою историю своего рода. Суть в том, что тайно оставшиеся в Испании после падения Гранады мавры готовят «революцию в исламе». Стремясь сохранить угасающую мужскую линию, они остановили свой выбор на Вордене, чья мать была родом из перешедших в христианство Гомелесов. Неожиданные препятствия и испытания должны были побудить молодого валлонца перейти в ислам. Необходимость в этом в конце романа исчезла, и честолюбивые замыслы Гомелесов потеряли всякий смысл. Но остался дневник Альфонса ван Вордена, в котором он описал первые шестьдесят шесть дней своего пребывания в Испании.

По своему построению «Рукопись, найденная в Сарагосе» на первый взгляд может напомнить арабские сказки «Тысяча и одной ночи» или «Декамерон» Боккаччо. На самом же деле в композиции своего романа Потоцкий вполне самостоятелен, даже оригинален. Это как бы некая изящная шкатулка с «секретами», позволяющими вкладывать в нее множество других шкатулок. У Потоцкого получил новое решение прием механической повторяемости сюжетов. Населяющие ро ман рассказчики столь различны по манере поведения и складу мышления, так независимы в своих поступках, что автору приходится с ними нелегко. В романе возникает множество параллельных линий, словно пересекающихся между собой, из-за чего порой даже затруднительно разобраться в событиях. В реплике одного из героев, уставшего от этих сюжетных хитросплетений, слышна словно легкая ирония самого автора: «Я попросту не знаю, кто говорит, а кто слушает. Маркиз де Вальфлорида рассказывает дочери свои приключения, а та рассказывает их вожаку цыган, а тот снова рассказывает их нам. Настоящий лабиринт!» Избранная Потоцким форма романа позволила ему с большой свободой развивать старые и вводить новые сюжетные линии, не стесняя себя театральной бутафорией «заговора Гомелесов».

Необъятен географический диапазон романа. С живописного Иберийского полуострова действие переносится в Феррару, Равенну, Рим и другие итальянские города, на Корсику, Сардинию, Мальту, к берберийским берегам Северной Африки, в

Тунис и Марокко — словом, охвачено все Средиземноморье. Вместе с героями романа читатель отправляется к Нилу, в татарские степи, в старинные рыцарские замки, в Лион, Париж, Вену и даже в экзотическую Мексику. Но это не предел. Неутомимая фантазия Потоцкого уводит нас даже в Древнюю Грецию, Египет и Иудею.

Это не просто историческая беллетристика книжника-вольнодумца из школы Ж.-Ж. Бартелеми или П.-С. Марешаля. Эрудиция Потоцкого обогащена опытом наблюдательного путешественника, изъездившего большинство из описанных мест, чуткого к новым впечатлениям, обычаям, традициям. Разноплеменная, разноязычная жизнь Средиземноморья шумно врывается на страницы романа, достоверная, зримая, почти осязаемая. Сицилийские бандиты, корсары, контрабандисты, монахи, рыцари, ученые, купцы, нищие, арабские шейхи, дипломаты, солдаты, египетские жрецы и мексиканские касики, а также каббалисты, подвластные им духи, загадочные призраки, оборотни, сам дьявол становятся героями многочисленных новелл, заметно окрашенных эротикой в духе галантного XVIII века.

В поисках сюжетов Потоцкий обращается к своим дорожным записям, к устным рассказам, поверьям и легендам, заимствует мотивы из средневековых хроник, сборников притч, охотно пользуется традиционными образами авантюрного плутовского романа, проявляет широкое знакомство с просветительской литературой. Калейдоскопически пестрая панорама романа не распадается на случайные отрывки: это некая амальгама, чудесный сплав, в котором каждая из новелл сохраняет, однако, свое неповторимое своеобразие. Единство же создается не сюжетом, достаточно условным и декоративным, а «общей философской настроенностью», которой Потоцкий придавал особое значение.

«Рукопись, найденная в Сарагосе» может быть названа романом приключений или фантастических происшествий, но прежде всего это исторический и философский роман. Разносторонний историк, сведущий в запутанных конфликтах прошлого, Потоцкий, как сын своего времени, глубоко обеспокоен судьбой человека в современную ему эпоху больших социально-политических потрясений. За увлекательными похождениями героев романа неожиданно открываются широкие идеологические перспективы, намечается выход в философскую полемику эпохи.

* * *

Критика основ просветительского мировоззрения, принявшая всеобщий характер в начале XIX века, была в значительной степени обусловлена историческим опытом недавней революции. Возвышенные лозунги свободы, равенства и братства открыли путь к новым формам социальной несправедливости, идеальное царство разума обернулось насилием, приведшим к грубой солдафонской деспотии.

Потрясенное в своих устоях старое общество рассматривало революцию как всемирную катастрофу, сопровождающуюся распадом всех общественных связей и нравственной деградацией человечества. Чтобы победить «легионы атеистов, — замечал обосновавшийся в Петербурге крупнейший идеолог европейской реакции Ж. де Местр, — нужно противопоставить им диаметрально противоположные принципы». Подвергая критике сенсуализм просветительской философии, он выдвинул тезис о «подлинных идеях», независимых от человеческого опыта и в высшем своем проявлении сливающихся с понятием бога. В своей критике теорий народного суверенитета и естественных прав человека де Местр чутко уловил абстрактный характер просветительского мышления, его принципиальный антиисторизм в вопросах общественного развития. «Выдуманного Вами общечеловека, — иронизировал де Местр, — нигде на свете не увидишь, ибо его в природе не существует. Я встречал на своем веку французов, итальянцев, русских и т. д.; благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже персиянином, но я решительно Вам объявляю, что сочиненного Вами человека я не встречал ни разу в жизни». Критика де Местра, казалось бы, открывала дорогу к историзму, к пониманию человеческого общества как исторически сложившегося организма. Но критическое оружие поднималось в защиту отживших социальных и политических институтов. Яростный сторонник провиденциализма, де Местр видел в человеке натуру, склонную ко злу и жестокости в силу первородного греха. Вернуть человеку его божественное предопределение означало в его понимании полное подавление всех индивидуальных проявлений личности, ее духовное и физическое рабство. Истинная свобода состояла, по де Местру, в абсолютном «поглощении личности народом и государством», идеальную модель чему он находил в XII веке, в универсальном католическом государстве, возглавляемом папой.

Потоцкому были хорошо известны эти идеи. Он познакомился с де Местром вскоре после своего приезда в

Петербург в 1804 году и часто встречался с ним в аристократических салонах столицы, где сардинский дипломат охотно излагал свои воззрения. «Рукопись, найденная в Сарагосе» создавалась в те же годы и приблизительно в той же обстановке, что и трактат де Местра «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о временном правлении Провидения». Естественно, что характерный для Петербурга той поры климат философских дискуссий отразился в обоих произведениях: в романе Потоцкого есть немало критических откликов на взгляды де Местра.

Начиная с 37-го и по 39-й «день» включительно, Веласкес в легкой и изящной манере ведет настоящий диспут с оппонентами, находящимися за рамой романа. Это, пожалуй, единственный случай, когда автор допускает явное хронологическое смещение. В 1730 году (время действия романа) было несколько преждевременно критиковать распространенные «в наши времена» (?) кантианские представления об априорных и местровское учение о «подлинных» идеях. В этой полемике Веласкес отстаивает материалистические взгляды Локка, Дидро, Гольбаха и выступает последовательным сторонником философского сенсуализма. Правда, Веласкес пытается примирить науку с религией, но страдает от этого прежде всего религия, которая сводится им к деизму.

Уступка религии, которую делает Веласкес в вопросе о происхождении мира и тайны жизни, дезавуируется в материалистической концепции Диего Эрваса, отвергшего идею бога. Гениальный ученый подвергнут в романе осуждению, хотя нетрудно заметить, что симпатии Потоцкого на стороне Эрваса, а в описании жизни последнего немало автобиографического. Самоубийство, которое совершает Эрвас, в известном смысле предвосхищает трагический исход жизни Потоцкого.{4} Все же взгляды Потоцкого нельзя отождествлять с системой испанского атеиста. Автор «Рукописи...» больше склонялся к деизму благодаря широкой терпимости, которую тот, по его мнению, представлял. Недаром один из самых близких к автору героев романа, Веласкес, преклоняется перед Лейбницем, гениальным ученым, но в то же время и теологом, мечтавшим о соединении всех церквей. Да и в самом романе утверждались идеи религиозной терпимости и свободы совести: в фантастическом заговоре Гомелесов принимали участие наряду с мусульманами христиане и сторонники иудейского вероисповедания.

По сравнению с воинствующе реакционными проповедями де Местра голос Потоцкого звучал с благородной гуманной сдержанностью. На фоне начавшейся ревизии просветительской идеологии Потоцкий защищал светский характер науки,

сенсуализм в теории познания, веротерпимость, человечность. Но он решительно расходился с просветительской этикой, основанной на теории естественных прав человека. Поскольку, провозглашал Гельвеций, все люди по своей природе равны, обладают одинаковыми способностями, одинаковыми потребностями и стремлением к их удовлетворению, постольку счастье отдельного человека сливается с общим благом, а личные интересы «просвещенного» человека, его «эгоизм» не противоречат обществу, состоящему из однородной массы подобных ему «философов». Категория «интереса» или «эгоизма» выражала суть революционной этики третьего сословия, штурмовавшего во главе всего народа феодальное общество с его «предрассудками», исказившими «естественные» свойства человека. Но к концу XVIII века положение изменилось. В ходе революции общечеловеческие лозунги раскрывались в своем буржуазном содержании. Все это было очевидным для автора «Путешествия Гафеса».

Один из героев «Рукописи...», дон Велиал де Геенна, «философ в своем роде», превосходно излагает основы ЭТИКИ Мандевиля и Гельвеция. «Я, — говорил он сыну Диего Эрваса, — один из главных участников могучего сообщества, поставившего себе целью делать людей счастливыми и излечивать их от предрассудков, всасываемых с молоком матери, которые потом становятся поперек дороги всем их желаниям. Мы уже выпустили немало ценных книг, где нагляднейшим образом показываем, что основа всех человеческих поступков есть любовь к себе и что любовь к ближнему, привязанность детей к родителям, горячая и нежная любовь, великодушие королей — только утонченные формы себялюбия. А раз пружина наших поступков — любовь к самому себе, то естественной целью их должно быть удовлетворение наших желаний».

Возможно, что Потоцкий слегка пародировал в этом отрывке писания аббата Баррюэля, видевшего во французской революции сатанинские козни иллюминатов, следствие усилий тайного, но могущественного заговора философов, издателей книг, подрывавших устои веры, традиции, нравственности. Но в еще большей степени пародируются сами просветители — их этическое учение проповедует дьявол. Правда, эта новелла с участием адских сил, с утверждением культа чувственных наслаждений и относительности нравственных представлений многократно дискредитируется: ее придумывают и рассказывают прежде всего, чтобы отвлечь внимание набожного мужа от любовных шашней его жены.

Историзм Потоцкого не совпадал с философским и

политическим традиционализмом, представленным де Местром либо начинавшими в те годы немецкими и французскими романтиками, хотя автор «Рукописи...» проявлял, например, определенные симпатии к «рыцарскому духу Средневековья». Благородный герцог Мединa Сидония в истории, рассказанной Авадоро, с презрением относится к современным нравам, к господству эгоизма, оправдывающего крайнее падение нравов. Для того чтобы сделать всех испанцев счастливыми, он мечтает прежде всего привить им любовь к добродетели, отвлечь от «непомерной жажды стяжательства» и «воскресить старинные традиции рыцарства». Общественное благо, к которому стремился Мединa Сидония, оказалось несбыточной мечтой. Пороки разъедают не только общество, они гнездятся внутри самого человека. Благороднейший из людей оказывается жертвой собственных страстей — он, не задумываясь, убивает своего же спасителя, обрекает на смерть ни в чем не повинного и сам погибает от яда.

Скепсис Потоцкого распространяется в равной мере на все утопические построения как просветителей, так и романтиков, где бы они ни помещали «золотой век» человечества—в мире ли всеобщего равенства или в средневековой Европе. Социальные системы, политические институты вообще почти не занимают Потоцкого — в романе им уделено крайне ничтожное место. Единственной ценностью является сам человек, но увиденный не в сфере рациональных построений, не в мире идеализированного Средневековья, а в реальной исторической ЖИЗНИ. Причем история воспринимается Потоцким не в своем социально-политическом содержании, а как определенный тип культуры, органической частью которого является конкретная личность. Отказываясь от индивидуалистической этики просветителей, Потоцкий не растворял индивидуальное в общем потоке традиции, не принимал и примата чувства (в том числе религиозного) над разумом, как многие романтики. Проблема человека раскрывалась им как проблема личного достоинства и нравственной независимости.

На беглый взгляд «Рукопись, найденная в Сарагосе» может показаться традиционным просветительским романом, осмеивающим различные суеверия и предрассудки, в том числе дворянский предрассудок чести. В литературе уже обращалось внимание на связь некоторых образов и ситуаций романа с «Жаком-фаталистом» Дидро и с другими классическими произведениями этого жанра. Действительно, Потоцкий не без юмора описывает воспитание молодого Вордена и дуэльную хронику жизни его отца, возведшего правила дворянской чести до

уровня катехизиса, определяющего все нравственные нормы поведения человека. Но этим правилам следуют не одни дворяне. В истории Зото, напоминающей позднейшие итальянские новеллы Мериме, разбойники и наемные убийцы из шайки Мональди оказываются порядочнейшими людьми, проявляющими в своем ремесле тонкое понимание чести.

На глазах у читателя происходит примечательная метаморфоза. Просветительское отрицание дворянской чести как грубого предрассудка Средневековья теряет в романе Потоцкого свою убедительность. Исчезает характерное противопоставление ложной дворянской морали «разуму» философа или «здравому смыслу» человека из народа. Потоцкий, немало заимствовавший из традиций испанского и французского плутовского романа, заметно изменил облик и художественную функцию героя этой литературы: ловкий и хитроумный слуга-бродяга, задорно осмеивавший все нелепые обычаи и нравы, превратился в отъявленного мошенника и пройдоху Бускероса, к тому же дворянина по происхождению. Чувство чести перестает быть у него привилегией одного дворянства: прохвосты и порядочные люди существуют во всех сословиях. Понятие чести исторически и социально локализуется и становится признаком определенной среды, культуры, обычаев. Старый Зото, проявляющий в вопросах чести щепетильность не меньшую, чем Хуан ван Ворден, очень точно выражается по этому поводу: «Да, я нападаю на людей из-за угла либо в лесу, как пристало человеку порядочному, но никогда не исполняю обязанности палача».

В отличие от Вольтера или Дидро, улыбка Потоцкого никогда не становилась саркастической, его насмешливое отношение к чрезмерному увлечению честью никогда не превращалось в ее отрицание. Истинная честь для Потоцкого совпадала с понятием порядочного человека, к какой бы среде он ни принадлежал. Альфонс ван Ворден, получивший самое строгое воспитание в дворянской семье, попадает в весьма странные и даже двусмысленные ситуации. Верный подданный короля и церкви, он скрывается от святой инквизиции; капитан валлонской гвардии, он проводит время среди разбойников и контрабандистов; католик, стойко отстаивающий свою веру, он дружит с маврами, цыганами, евреями и даже становится фактическим мужем двух своих кузин, воспитанных в мусульманском обычае. Во всех этих достаточно романтических перипетиях Альфонс ван Ворден остается человеком чести, мужественным до безрассудства, в любых обстоятельствах сохраняющим верность своему слову и в то же время не лишенным тонкой наблюдательности, здравого смысла и душевной отзывчивости. Это реальный человек со своей

индивидуальностью и «частным», присущим только ему, взглядом на события, участником которых он был. Потоцкий сделал попытку раскрыть историческое время через личное восприятие человека, рядового дворянина, а не героя или государственного деятеля. Альфонс ван Ворден предшествует большой галерее героев, будь то персонажи исторических романов Вальтера Скотта или Гринев из «Капитанской дочки» Пушкина.

Конечно, историзм Потоцкого проявлялся преимущественно в психологической достоверности, с какой описывались впечатления и переживания капитана валлонской гвардии; в панораме событий еще не было общей исторической перспективы: это скорее мозаика, скрепленная сознанием автора-рационалиста, ставящего лабораторные опыты в метафизических целях. Но само понимание «опыта» и «метафизики» в романе свидетельствует о начавшемся преодолении просветительских норм мышления.

Фантастическое в «Рукописи, найденной в Сарагосе» объясняется вполне естественным образом. Обуянный злым духом Пачеко оказался бискайским акробатом, потерявшим глаз не в схватке с нечистой силой, а во время падения. В роли современника Клеопатры и очевидца событий древней Иудеи выступил старик, прислуживавший Уседам и начитавшийся разных книг и рукописных хроник из их библиотеки. Бесконечные мистификации, подставные лица, обманы, опьянение и прочая бутафория, рассчитанная на полную дискредитацию всего сверхъестественного, связывают роман Потоцкого с эпохой Просвещения.

Существует мнение, что замысел «Рукописи, найденной в Сарагосе» сложился под влиянием встреч Потоцкого с Шатобрианом в Риме в 1803—1804 годах, а сам роман — блестящая философская полемика с идеями автора «Гения христианства» (Л. Кукульский). Конечно, Потоцкому были дороги традиции гуманизма и разума. От этого, однако, еще далеко до полемики с Шатобрианом, во всяком случае, ее довольно трудно обнаружить в романе; напротив, как мы упомянули, автор с сочувствием отзывается о «веке рыцарских добродетелей», хотя и не верит в его возрождение. Разоблачение сверхъестественного не всегда является свидетельством борьбы с мистикой: в романах Анны Радклиф, которую нелегко заподозрить в симпатиях к Просвещению, призраки чаще всего оказываются переодетыми слугами.

Но еще важнее другое. Иррациональное, сверхъестественное, вторжение которого в обычный упорядоченный мир составляет сущность фантастического в романе, по самой своей природе есть нечто исключительное и уже в силу этого неповторимое. Между

тем у Потоцкого, на что обращали внимание исследователи (Р. Кайуа), одна и та же необычная ситуация повторяется множество раз не только с Альфонсом ван Ворденом, но и с другими героями романа. С неистощимой изобретательностью Потоцкий снова и снова обращается к мотиву, в котором можно увидеть либо какие-то впечатления молодости, либо стремление выйти за пределы «естественной» морали.

В этой-то композиции зеркальных отражений стираются грани между явью и вымыслом, между естественным и фантастическим. Уже к концу «первого декамерона» трезвый и бесстрашный Альфонс ван Ворден вынужден признаться: «Чем больше я размышлял над событиями, которых был свидетелем, тем меньше их понимал; в конце концов я стал бояться думать о них — из опасения, как бы не сойти с ума». А в последних главах, когда насмешливая Ревекка усомнилась в рассказе Осужденного Пилигрима, Авадоро спешит согласиться с ней, заявляя, что эта история могла быть придумана в угоду влиятельному герцогу, но тут же замечает, что было бы поспешным считать, что рассказанного вовсе не было. И действительно, роману свойствен параллелизм, разрушающий безусловный характер рационалистических объяснений, а порою и логику сюжета. Одно и то же событие существует как бы в двух художественных измерениях — и как ловкая проделка, рассчитанная на обман простака мужа, и как леденящая кровь дуэль с призраком. Судьба Осужденного Пилигрима не менее реальна, чем люди, ее сочинившие. Более того, история командора Торальвы, переданная Бускеросом со слов легкомысленной Фраскиты, не могла быть придумана слугами герцога, ее мог рассказать лишь сам кавалер Мальтийского ордена. Связи между автором, рассказчиком и тем, что рассказано, необычайно усложняются.

Поэтика «ужасов», бурно расцветшая в европейской литературе к концу XVIII века, была в известном смысле симптомом кризисных явлений в просветительском мышлении, его неспособности постичь многообразие и сложность новых общественных явлений. Стремление выразить стихийное, иррациональное, существующее вне человека и в нем самом, не поддающееся логическому истолкованию, было попыткой преодоления абстрактных представлений о человеке и его общественных связях. В литературу хлынуло все то, с чем так успешно боролись просветители в течение многих десятилетий, — средневековые суеверия, призраки, потусторонние силы.

В эпоху романтизма автор фантастического рассказа либо растворялся в стихии религиозной традиции, народных верований и легенд, либо само сверхъестественное становилось

сферой проявления его ничем не стесненной свободы воображения. Лишь позднее, в творчестве Мериме, Пушкина, Ирвинга, автор отделился от рассказчика и снял с себя ответственность за его поведение. Фантастическое, необычное потеряло свою всеобщность и стало характеристикой индивидуальности рассказчика или среды, в которой он находился.

Отделившись от автора, рассказчик слился с героем повествования. Классические примеры этого жанра — «Венера Илльская» Мериме и «Гробовщик» Пушкина. Жуткое сборище мертвецов могло привидеться лишь изрядно подвыпившему Адрияну Прохорову — сон продолжает его жизнь и подчеркивает ее призрачность и ничтожность. Мистификации, к которым охотно прибегал Мериме, были не шуткой, а литературной проблемой: биография никогда не существовавшего старого гусляра Иакинфа Маглановича, от имени которого Мериме издал собрание иллирийских песен, имеет, по словам Пушкина, «необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия».

Современник Радклиф, Уолпола, Казота, Потоцкий опубликовал свой роман, когда будущему автору «Театра Клары Газуль» и «Гузлы» было не более двух лет (Мериме родился в 1803 г.), задолго до появления фантастических повестей Пушкина и Ирвинга, но художественные особенности будущего жанра были предвосхищены в «Рукописи, найденной в Сарагосе».

Потоцкий отказался от схематичных фигур героев-«рупоров», с помощью которых авторы просветительской прозы или мещанской драмы обращались к читательской аудитории. Так же равнодушно отнесся он к распространенному в те годы жанру авторской исповеди. Само название романа и предисловие к нему свидетельствуют о «расщеплении» автора и рассказчика: дневник или рукопись, впоследствии найденную в Сарагосе, заполнял не Потоцкий, а Альфонс ван Ворден, чье воспитание, правила поведения и представления вполне соответствуют современной ему эпохе. Этот прием авторского отстранения многократно повторяется на протяжении всего романа.

Подобно тому как был обнаружен дневник валлонского офицера, Ворден и его друзья в свою очередь находят старинные рукописи и книги, за которые они, разумеется, не несут ответственности. Конечно, и в этом проявляются индивидуальные особенности героев романа: Веласкес вспоминает редкие латинские издания, которые могли быть известны лишь ученому эрудиту, искушенный в оккультных науках Уседа проявляет недюжинное знакомство с каббалистикой. Ворден увлекается «удивительными историями» Хаппелиуса, впоследствии столь

прочно забытого, что имя этого автора считали (Л. Брюкнер) вымыслом Потоцкого. Между тем Хаппелиус, или Э.-В. Хаппель (1647—1690), действительно существовал, его многочисленные сочинения часто переиздавались в конце XVII — начале XVIII века и были популярны в среде Альфонса ван Вордена.

Достоверность источников не снимает, однако, вопроса о способе переделки чужого текста в романе Потоцкого. Действительно, «История Тибальда де ла Жакьера», которую прочел в книге Хаппелиуса Ворден, не является простым заимствованием. В передаче Потоцкого исчез тяжеловесный стиль бюргерских поучений, перемежаемых грубыми натуралистическими подробностями и откровенной бранью автора. История, случившаяся в Лионе, рассказана легко и изящно, с простодушием, за которым сквозит тонкий юмор, созвучный по настроению старинному французскому фаблио. Но сам назидательный автор не вполне растворился в Потоцком. Он как бы переместился в художественное пространство новеллы: рядом с беспутным лейтенантом появился его отец, в прошлом купец, почтенный советник де ла Жакьер. Все произошедшее с «блудным сыном» увидено его глазами, сквозь призму его нравственных представлений, устойчивых и постоянных, как весь традиционный уклад жизни средневекового города. Фантастическая встреча Тибальда с прелестной Орландиной, оказавшейся Вельзевулом, потеряла надобность в истолковании: порочные склонности неизбежно бросают человека в когти дьявола. Наивные, искрящиеся чувственным задором речи Орландины придают этой притче необыкновенную выразительность и психологическую достоверность. Для отца Тибальда, как и для Хаппелиуса, заимствовавшего сюжет «Зловонной любовной связи» из «Печальных театральных сцен Цейлера и Россе» (1621), сверхъестественное не менее реально, чем все остальное, хотя оно проявляется лишь в исключительных ситуациях.

С такой же волнующей достоверностью оживает мир античной Греции в истории Мониппа, взятой почти целиком из Филострата. Задача в этом случае была облегчена тем, что Филострат намеренно создавал миф о жизни Аполлония Тианского. Потоцкий пошел дальше по этому пути, создавая миф о Греции, о мудрости философии стоицизма и призрачности чувственных наслаждений. Выхваченный из рамы чужого повествования, эпизод обрел новое существование в «Рукописи, найденной в Сарагосе».

Античность и Средневековье. Традиции бюргерского города и рыцарских поединков. Народные суеверия и легенды юга Италии

и Испании. С неизвестной в истории литературы достоверностью Потоцкий воссоздает в своем романе различные типы цивилизаций, социальной психики. Правда, историзм распространяется исключительно на родовые явления. Отдельная личность существует для Потоцкого как интегральная часть целого, это еще не индивидуальность с не повторимым своеобразием только ей присущих черт. Когда человек переступает за порог принятого, узаконенного, традиционного, наступает разрыв, катастрофа. Мера трагизма — это глубина и значительность переживаний человека, приводящих его к столкновению с окружающим миром.

В известном смысле «Рукопись, найденную в Сарагосе» можно назвать исследованием о страстях, их проявлениях и метаморфозах. Едва ли не все герои романа — люди больших и всепоглощающих страстей, раскрываемых в контрастных сопоставлениях, в сближении высокого и низменного, в прозрении прекрасного, в ярости и неистовстве, доходящих до преступления. И снова Потоцкий очень отдаляется от односторонних представлений своих современников, — будь это просветительский апофеоз страстей (Гельвеций) или их церковное осуждение (Ж. де Местр). Проблема страсти — это проблема сложности и противоречивости человеческого характера, хотя и увиденного не в его индивидуальном выражении, а топологически.

Представление о человеке у Потоцкого решительно расходится с «политическим человеком» эпохи Просвещения. Герои романа равнодушно, если не враждебно относятся к политической деятельности, как и сам автор в последние годы жизни. Авадоро, чья молодость прошла в государственных интригах и войнах, проклял «земных полубогов» и на склоне лет проникся глубочайшим отвращением ко всем общественным связям. Тревожным обольщениям света он предпочел, как позднее пушкинский Алеко, кочевую жизнь цыган и естественные отношения.

Подобно тому как Авадоро и отчасти Ворден находят счастье и успокоение в природе, Веласкес видит его в науке. Природа и наука становятся нравственной утопией, в которой человек может обрести духовную независимость и полноту существования. Конечно, Потоцкий был далек от руссоистских иллюзий (история Ундины достаточно выразительна в этом отношении). Трагическая судьба Диего Эрваса, alter ego Веласкеса и самого автора, не оставляла сомнений в хрупкости надежд, возлагаемых на науку. Но Потоцкий чутко уловил внутренний, имманентный характер процесса познания, дающий ощущение относительной

независимости.

Ученые, появляющиеся в романе (Ромати, Веласкес, Эрвас), отнюдь не похожи на искателей философского камня, гениальных чернокнижников, вступавших в сделку с дьяволом, или на комические персонажи, в роли которых чаще всего выводились жрецы Эскулапа.

Потоцкий одним из первых ввел в мировую литературу образ ученого, искренне и самозабвенно отдающегося своему призванию, человека высокой нравственной идеи. Труд ученого им опоэтизирован как вдохновенное творчество, без какого-либо намека на привычную для литературы того времени демонизацию. Потоцкий живописал ученых с большим профессиональным пониманием особенностей их психики и процесса творчества. В этом было немало автобиографического. Но и весь роман в некотором роде автобиографичен, он, словно в фокусе, собрал жизненные впечатления Потоцкого.

Когда-то, в годы первых своих путешествий, Потоцкий полемизировал с писателями-рационалистами, забывавшими, что народы состоят из множества людей, а сами люди — из множества противоречий. Говоря о том, что эти авторы награждают своих героев либо одними добродетелями, либо одними недостатками, Потоцкий восклицал: «Но что делать с обширной гаммой отблесков, изменчивых тонов, оттенков и со светотенью?.. Поистине прекрасное творение создаст тот, кто разместит все это на одном полотне, а потом, как выражаются художники, пройдется по живописи барсучьим хвостом или специальной кистью, чтобы отдельные краски СЛИЛИСЬ в одно целое».

Таким «истинно прекрасным творением» стала «Рукопись, найденная в Сарагосе». Не в жанре научных разысканий или путешествий, а в свободной многоярусной композиции из рассказов сумел Потоцкий воплотить свой давнишний замысел, обогащенный новыми наблюдениями и пониманием. Ум, отвергший авторитетные каноны религиозного мышления, не принимал всеобщих абстрактных истин. Не только прошлое, но и будущее не вызывало особых надежд у Потоцкого. Из этого пессимистического отношения к современному обществу вырастали новые нравственные перспективы: на смену универсальному человеку эпохи Просвещения пришел исторически конкретный человек со своими частными интересами, с гуманными идеалами терпимости, равенства, свободы мысли и духовной независимости.

Литературная судьба «Рукописи, найденной в Сарагосе» по-своему, но менее увлекательна, чем ее содержание. Роман,

изданный в ничтожном количестве экземпляров, почти не был известен современникам. В 1808 году на страницах выходившего в Петербурге на немецком языке журнала «Ruthenia» появилась «История Зото» с характерным примечанием: «Отрывок из необыкновенно занимательного романа, который был недавно издан в Петербурге и сразу же стал величайшей редкостью, поскольку автор, начавший свою работу в Испании и окончивший ее в буквальном смысле близ Китайской стены, напечатал сие творение в количестве ста экземпляров». Сходные впечатления высказал в 1825 году в «Сыне отечества» И. И. Греч: «Любители истории и литературы долго будут оплакивать преждевременную кончину сего ученого, умного, преисполненного талантами писателя. Я храню как драгоценность странный его роман «Manusrit trouve a Saragosse», начатый в Сьерра-Морене и оконченный у подошвы Китайской стены! Он напечатал только пятьдесят (!) экземпляров этого сочинения, без заглавия, без счета страниц, без конца — курсивными буквами!» Вскоре после казни декабристов, в 1828 году, П. А. Вяземский писал: «Как герой романа Потоцкого, который где бы ни был, что бы ни делал, а все просыпался под виселицами, так и я: о чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место».

Этими отзывами исчерпываются высказывания о романе Потоцкого в русской печати первой трети XIX века. Не многим больше было читателей, но среди них был Пушкин.

По-видимому, Пушкин познакомился с «Рукописью, найденной в Сарагосе» на юге России, возможно, в Тульчине в феврале 1821 года.

После возвращения из Эрзурума, в начале 1830 года, Пушкин приобрел книгу Потоцкого «Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase» (Paris, 1829) («Путешествия в Астраханские и Кавказские степи»). Это издание, подготовленное известным ориенталистом и учеником Потоцкого Г.-Ю. Кляпротом по рукописи, полученной из Филадельфии, содержит интересные замечания издателя о романе Потоцкого: «Помимо научных сочинений, граф Ян Потоцкий напи сал необыкновенно интересную повесть, лишь частично опубликованную; ее содержание составляют приключения испанского дворянина мавританского происхождения, родом из Гомелесов. В повести этой автор бесподобно изображает обычаи испанцев, мусульман и жителей Сицилии, характеры людей переданы с большой истиной, словом, это одна из самых привлекательных книг, которые когда-либо были написаны. Существуют, увы, лишь несколько ее рукописных

копий, та же, которая была прислана в Париж для издания, остается в руках особы, которая должна была ее просмотреть перед опубликованием. Будем надеяться, что одна из пяти копий, которая, как мне известно, находится в Польше и России, рано или поздно появится на свет, ибо эта книга, подобно Дон-Кихоту или Жиль Блазу, никогда не состарится». Эти сведения заинтересовали Пушкина, и по его просьбе графиня Е. К. Воронцова предприняла поиски рукописи романа, обращаясь к родным Потоцкого; но эти усилия не увенчались успехом, о чем она сообщила в письме от 26 декабря 1833 года. Тогда же Пушкин приобрел два парижских издания 1813 и 1814 годов. По воспоминаниям Вяземского, которые можно отнести приблизительно ко второй половине 1820-х—1830-м годам, «Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своеобразные вымыслы арабской поэзии и не менее своеобразные нравы и быт испанские». Свидетельство Вяземского подтверждается самим поэтом, подчеркнувшим в «Путешествии в Арзрум» (1835) верность и «занимательность» описаний Потоцкого.

Для поэтики Пушкина верность и яркость — понятия, чаще всего не совпадающие. «Яркость» для поэта почти всегда была синонимом субъективности, односторонности, нарушавшей жизненное правдоподобие. Потоцкий же предлагал редкий случай слияния фантастического вымысла с правдоподобием, экзотического своеобразия с истиной чувств, фактической точности с поэтичностью.

Академик М.П. Алексеев включает роман Потоцкого в круг «испанских чтений» Пушкина. Польский исследователь М. Топоровский полагает, что произведения Пушкина «Египетские ночи» и незаконченная поэма об Агасфере связаны с чтением «Рукописи, найденной в Сарагосе». В «Цыганах» можно усмотреть некоторое сходство с «Авадоро»: «Алеко, как и герой «испанского романа», оставил «неволю душных городов» и нашел пристанище в цыганском таборе. Отдельные ситуации устного пушкинского рассказа «Уединенный домик на Васильевском», опубликованного в записи В. П. Титова в «Северных цветах на 1829 год» под псевдонимом Тит Космократов, напоминают «Историю Тибальда де ла Жакьера».

Интересно, что незадолго до своей трагической кончины Пушкин снова обратился к роману польского автора.

Стихотворение «Альфонс садится на коня...» создавалось, когда Пушкин работал над материалами пугачевского бунта и «Капитанской дочкой», и может рассматриваться как попутный «этюд», отразивший сокровенные переживания самого поэта.

Мотив виселицы, впервые появившийся в рисунке 1821 года и слившийся после казни декабристов со сложным комплексом историко-философских и нравственно-политических проблем, глубоко волновавших поэта, прошел через все его творчество. Стихотворение «Альфонс садится на коня...» навсегда останется прекрасным памятником восприятия «Рукописи, найденной в Сарагосе» в русской литературе.

Судьба романа Потоцкого на Западе отличается немалым своеобразием. В истории новой литературы трудно найти произведение, которое послужило бы источником для столь бесстыдных (и крайне интересных в историко-литературном смысле!) плагиатов, как «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Серьезные подозрения в плагиате падают на Ш. Нодье (1783—1844), драматурга, романиста, одного из известных тогда мастеров французской прозы. Как предполагает Р. Кайуа, у него была единственная во Франции рукописная копия романа, о которой писал Г.-Ю. Кляпрот. В 1822 году он включил в свой томик рассказов о призраках («Infernaliana») «Историю Тибальда де ла Жакьера», не упомянув ни словом об источнике. Это был первый, но не единственный плагиат из Потоцкого.

Граф де Куршан (псевдоним Мориса Кузена), известный знаток мемуарной литературы XVIII века, в изданных в 1834—1835 годах «Мемуарах маркизы де Кроки», бывших плодом его фантазии (мемуары маркизы были сожжены после ее смерти), присваивает историю Джулио Ромати. В третьем томе своих псевдовоспоминаний «маркиза» с восхищением отзывается о мемуарах Калиостро (это чистый домысел Куршана, поскольку Калиостро никогда не писал мемуаров) и приводит несколько отрывков из них. Это были «История герцогини Монте-Салерно» и другие рассказы из романа Потоцкого.

Обрадованный безнаказанностью, а также успехом «Мемуаров маркизы де Креки», Куршан предпринял еще более дерзкое литературное ограбление. В начале октября 1841 года в газете «La Presse» стали печататься отрывки якобы из мемуаров Калиостро под названием «Роковая долина» и «История дона Бенито де Альмуневар». Но уже 13 октября «Le National» выступила с разоблачением: мемуары Калиостро оказались буквальной перепечаткой парижских изданий романа Потоцкого. Во время процесса, который затеяла «La Presse», желая получить за «бесчестие» 25 000 франков, Куршан пытался защищаться и обвинил, в свою очередь, в плагиате... некоего генерала Паца, уже покойного. Последний якобы «коварно издал» в 1813 году без ведома Куршана его рукопись и проставил на ней свои инициалы. Поскольку они совпадали с инициалами Потоцкого, а покойный

генерал не мог возражать, адвокат Куршана надеялся выиграть дело. Но спор был решен представленным суду экземпляром петербургского издания, которое Потоцкий подарил с собственноручной надписью генералу Сеноверу, сотрудничавшему с ним в «Северных известиях».

Разоблачение плагиатора отнюдь не решило судьбу его книги. «Мемуары маркизы Креки» продолжали привлекать внимание публики и выдержали на протяжении XIX века двенадцать изданий. Более того, сам Куршан стал жертвой плагиата.

Новелла Вашингтона Ирвинга «Мальтийский рыцарь», опубликованная в 1855 году в сборнике «Wolfert's Roost and Other Stories», является переводом «Истории командора Торальвы» Потоцкого. Ирвинг искусно обосновывает свое заимствование тем, что эту историю он записал на Мальте в 1805— 1806 годах со слов кавалера Ландолини, но впоследствии утратил записи и воспользовался мемуарами знаменитого авантюриста Калиостро, где нашел тот же самый рассказ. Конечно, Ирвинг не знал, что имеет дело с плагиатом Куршана, но его ссылки на источники воспринимались как обычный для того времени прием литературной мистификации.

Последняя по времени попытка, впрочем достаточно курьезная, лишить Потоцкого авторства была сделана небезызвестным библиографом Полем Лакруа. В своей книге «Загадки и библиографические открытия» (1866) он приписал Ш. Нодье два парижских издания «Рукописи...» и советовал будущему издателю его сочинений учесть этот факт. Помимо интуиции и чувства стиля, которые подсказали ему это «открытие» еще во время процесса Куршана, Лакруа ссылался на рукописи Нодье с текстом «Авадоро» и «Десяти дней из жизни Альфонса ван Вордена», не подозревая, что они могли свидетельствовать о противоположном.

Шумная история вокруг плагиата Куршана ускорила появление польского перевода романа. Уже первый биограф Потоцкого М. Балинский сообщил о близком выходе «не отрывков», а всего оригинального творения Потоцкого, которое подготовил «муж ученый, опекающий науки». Вполне правдоподобно, что этим «ученым мужем» был И. Лелевель, выступивший во время процесса Куршана в защиту Потоцкого и издавна собиравшийся написать о нем самостоятельное исследование. К сожалению, в появившемся в 1847 году в Лейпциге польском переводе романа в шести небольшого формата томиках объяснения отсутствовали. Перевод был сделан Эдмундом Хоецким, который впоследствии выступал также как

французский литератор под псевдонимом Шарль Эдмон. Перевод Хоецкого несколько раз переиздавался, но только в 1965 году вышло первое критическое издание романа Потоцкого, подготовленное польским исследователем Л. Кукульским, исправившим перевод Хоецкого по прижизненным изданиям и авторским рукописям, частично обнаруженным в польских архивах.

Старая римская пословица говорит, что книги, как и люди, имеют свои судьбы. Роман Потоцкого — яркое тому подтверждение. В течение многих десятилетий «Рукопись, найденная в Сарагосе» была забыта, существовала независимо от написавшего ее польского ученого, приобретала известность под чужими именами.

Ныне судьба книга стала судьбой ее автора. Роман, в котором Потоцкий выразил свою глубокую веру в духовные ценности человека, стал близок и дорог современному читателю.

notes

1

Mickiewicz A. Dziela, t. XI. Warszawa, Literature stowiantbka, 1953, sir. 222-223.

2

Польские легионы, созданные в 1797 г. в Северной Италии по инициативе генерала Яна Домбровского, стремившегося к возобновлению вооруженной борьбы за восстановление независимой Польши, были в 1802—1803 гг. использованы Наполеоном для подавления национально-освободительного движения на Сан-Доминго.

3

Это косвенно подтверждается надписью, сделанной неизвестным лицом на листке бумаги, приклеенном на обороте переплета, в который облек этот уникальный экземпляр петербургского издания его бывший владелец: «Граф Ян Потоцкий велел отпечатать эти листы (cos feuilles) в Петербурге, в 1805 г., незадолго до отъезда в Монголию (с посольством, направляющимся в Китай), без титульного листа и конца, собираясь продолжить свой труд, если воображение, коему он дал в этом сочинении полную свободу, склонит его к этому».

4

Перед самоубийством Потоцкий отлил себе пулю из ручки серебряной сахарницы и велел ее освятить капеллану. Этот «богохульченский» по тем временам характер самоубийства отмечен в непубликовавшихся воспоминаниях П. Головиной, урожденной Фредро, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны: «Однажды его (Потоцкого) нашли мертвым в своей постели. Он выстрелил себе в голову из пистолета; рядом с ним на столе лежала карикатура, в которой он изобразил себя таким, каким станет после смерти, и письмо, где в шутовском (bourlesque) стиле пишет, что ему наскучила жизнь». Там же Головина сообщает биографические сведения о Потоцком, его научных трудах и о «Рукописи, найденной в Сарагосе»: «Известен его странный роман, вызывающий страх, — некий род истории о висельниках» (ЦГАЛИ СССР, ф. 1076, оп. 1, д. 7, л. 343-344).